
АЛЕКСАНДРА
ПЕПЕЛ И ПЕРЬЯ
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ РОМАН
18+

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРА
Пепел и перья

https://litres.ru/74753864
SelfPub; 2026

Аннотация

В этом мире не вы смотрите в зеркало — за вами следят оттуда. И вам это точно не понравится

Люси Делакруа в этом мире давно. Она держит бар под эстакадой надземки и знает по именам тех, кого выгнали из ада: беглецов, отступников, падших. У неё они пьют, молчат и чувствуют себя почти живыми.

А потом в её дверь входит Пол Мерсер. Страж. Шестнадцать лет он убивает таких, как её гости, — а теперь по Чикаго находят женщин с выжженными глазами, и след ведёт к её порогу. Он пришёл за ней. Она встретила его ножом у горла.

Содержание

Глава 1. Пол 5
Глава 2. Люси 19
Глава 3. Пол 35
Глава 4. Люси 50
Конец ознакомительного фрагмента. 63

АЛЕКСАНДРА
Пепел и перья

АЛЕКСАНДРА
ПЕПЕЛ И ПЕРЬЯ
роман
Он должен был её привести. Она должна была его убить.
18+

Глава 1. Пол

У женщины на остановке не было глаз.

Не в том смысле, в каком об этом пишут в полицейских сводках. Их никто не вырезал и не выдавливал. Глазницы были гладкими и чистыми, будто глаз там никогда и не было, а края век запеклись тонкой золотистой коркой, как карамель на дне сковородки. Она сидела на скамейке под стеклянным козырьком, сложив руки на сумочке: бежевое пальто, аккуратные ботинки на низком каблуке, нитка жемчуга. Ждала автобуса, который уже не придёт.

Четвёртая за две недели.

Я присел перед ней на корточки.

— Простите, мэм, — сказал я. — Я опоздал.

Глупо, знаю. Мёртвым всё равно, извиняешься ты или нет. Но кто-то должен был сказать ей хоть что-нибудь человеческое, а полиция, которая будет здесь минут через десять, первым делом скажет «твою мать».

Было без двадцати три ночи. Нижний Уэкер-драйв — улица под улицей, бетонный подвал Чикаго. Здесь круглые сутки горят жёлтые фонари и гудят вентиляторы, а где-то сверху, над перекрытием, живёт нормальный город: небоскрёбы, такси и люди, которые спят в своих кроватях. Сюда спускаются таксисты, чтобы срезать путь, бездомные, чтобы переждать ветер, и такие, как я.

Её смерть я услышал раньше, чем увидел. Я шестую ночь подряд катался вдоль реки, слушал город и ждал, и в 2:31 город зазвенел. Тонко, на одной бесконечной ноте, как если провести мокрым пальцем по краю бокала. Звук шёл отовсюду сразу, от него ныли зубы и дрожал позвоночник, а мотоцикл подо мной вдруг показался очень маленьким. Через четыре минуты я был здесь. Звон к тому времени стих.

Стекло остановки за её спиной треснуло звездой. Ровной, почти красивой, с центром точно на уровне её затылка. Я приложил к стеклу ладонь.

Тёплое.

Октябрь в Чикаго, три часа ночи, ветер с озера пробирает до печёнок, а стекло тёплое, как бок спящей собаки.

На скамейке, на её коленях, на плечах бежевого пальто лежал пепел. Серый, лёгкий, жирный на ощупь. Я растёр щепотку между пальцами и понюхал: сера и дым. Всё как положено. А от неё самой, едва уловимо, тянуло ещё чем-то. Сладким. Жжёным. Как карамель, забытая на огне. Демоны так не пахнут. Этот запах был из другой жизни — с лестницы в Гэри. Когда мне было восемнадцать и я спросил про этот запах, Зик сказал: «Старые твари пахнут по-разному, сынок. Не думай об этом». Я и не думал. Шестнадцать лет.

Пепел — значит, демон. Всё просто, всё как всегда, можно работать. Тут полагается почувствовать облегчение, и я его почувствовал. Почти.

Потому что Печать на груди молчала.

Мне поставили её в восемнадцать лет, в подвале церкви в Гэри, штат Индиана. Серебряная игла, святая вода, наставник держит меня за плечи, а я стараюсь не орать, потому что мужчины, как мне тогда казалось, не орут. Я орал. С тех пор у меня на груди, слева, над сердцем, знак размером с ладонь: круг, четыре линии и что-то вроде глаза в центре. Девушки обычно спрашивают, что это за группа. Я обычно отвечаю: «Очень андеграундная».

Печать — не украшение. Рядом с демонами она жжёт, и я давно научился читать этот жар лучше, чем прогноз погоды. Лёгкое покалывание — тварь где-то в квартале. Горчичник — в соседней комнате. Утюг — оборачивайся, Пол, она у тебя за спиной.

Сейчас не было ничего. Холод и тишина. Значит, тот, кто это сделал, ушёл давно. Только «давно» не складывалось с тёплым стеклом. И с ниткой жемчуга, которая — я проверил пульс, порядок есть порядок — ещё хранила тепло её шеи.

Я сфотографировал её, стекло и пепел и отошёл за бетонную колонну ровно в тот момент, когда по стенам туннеля побежали синие и красные отсветы.

Зик ответил после второго гудка. Он никогда не спит. Или спит, но с телефоном в руке, как старые солдаты спят с винтовкой.

— Четвёртая, — сказал я.

— Глаза?

— Нету. Пепел на месте. Стекло опять треснуло.

— Стекло — мелочь.

— Зик, оно тёплое. Как будто…

— Как будто тварь была там пять минут назад, а ты её упустил. — Голос у него хриплый, прокуренный, хотя он не курит с девяносто восьмого года. — Пепел есть — демон есть. Ищи пепел, Пол, найдёшь демона. Не надо думать. Надо делать.

«Не думай, делай». Если бы в Ордене печатали футболки, это было бы на всех.

— Понял, — сказал я. — Не думать. С этим у меня никогда не было проблем.

— Пол.

— М?

— Будь осторожен. Этот город любит глотать таких, как мы.

Он отключился. Зик никогда не прощается: считает, что прощание — это приглашение для неприятностей.

Мотоцикл ждал меня у пандуса, в тени. Чёрный «Триумф Бонневиль» семьдесят девятого года. Я собирал его по винтику два года, и он отвечает мне взаимностью: заводится с полоборота и никогда не спрашивает, куда мы едем. На нём можно проехать шестьсот миль за день, втиснуться между двумя машинами там, где не встанет и велосипед, а потом запрыгнуть в седло и исчезнуть, пока кто-то ещё ищет ключи. Машина — это дом. Мотоцикл — это решение. Я предпочитаю решения.

Я как раз перекинул ногу через седло, когда Печать проснулась.

Не покалыванием. Сразу горчичником.

Я замер. Тварь была близко, в квартале, не дальше, и, судя по тому, как жар растекался под рёбрами, не пряталась. Она смотрела.

Я поднял голову. Над рекой, на мосту Кларк-стрит, у перил стоял парень в сером худи и глядел вниз, на мигалки. Ветер трепал его капюшон. Обычный парень. Потом он повернул голову, и даже отсюда, через сотню метров и чёрную воду, я скорее почувствовал, чем увидел: в глубине его глаз тлеют два уголька.

Он помахал мне рукой. Развернулся и неторопливо пошёл на север.

— Ну конечно, — сказал я мотоциклу. — Пешком. Чтобы мне было обиднее.

* * *

Я догнал его в Ривер-Норт, в переулке за китайским рестораном, среди мусорных баков и запаха прогорклого масла. Догнал — громко сказано: он меня ждал. Стоял, привалившись плечом к кирпичной стене, и ел печенье с предсказанием.

— «Вас ждёт неожиданная встреча», — прочитал он вслух и улыбнулся. — Смотри-ка. Работает.

Вблизи ему было лет двадцать. Веснушки, тонкая шея, худи с эмблемой университета Лойолы. Если бы я не знал, кто

он, спросил бы у него дорогу.

Но я знал. Печать пекла так, что дышать приходилось через раз. И я видел, как под его кожей, у висков, временами проступает тёмное, словно через это лицо, как через окно, смотрит кто-то другой: обугленный, древний и очень голодный.

— Страж, — сказал он ласково, как говорят «котик». — Шестая ночь у реки, и всё один. Тебе не холодно? Хочешь, согрею?

— Спасибо. У меня куртка с подкладкой.

Я вытащил клинок. Сорок сантиметров белого железа, клеймо Ордена у самой гарды, рукоять обмотана кожей, вытертой моими же ладонями до блеска. В Ордене такие клинки называют «последним словом». Я называю его ножом.

— Женщина на остановке, — сказал я. — Твоя работа?

Он поморщился, будто я сказал при нём что-то неприличное.

— Фу. Нет. Мы так не едим. Мы любим, когда они смотрят. — Он слизнул с пальца сахарную крошку. — Глаза — самое вкусное, Страж. В глазах всё: страх, надежда, кого любят, чего стыдятся. Зачем их выжигать? Это всё равно что спалить торт, не попробовав.

— Тогда что ты делал на мосту?

— Смотрел. Как и ты. Как все мы сейчас. — Он пожал плечами. — В городе кто-то режет людей светом, а ты бегаешь за мной, как пёс за брошенной палкой. Тебе самому не

смешно?

— Мне смешно, что у тебя на рукаве пепел.

Он посмотрел на свой рукав. Пепел там был — его собственный. У демонов, которые подолгу живут в одной оболочке, кожа на запястьях начинает осыпаться, как старая бумага.

— Это не мы, — сказал он, и улыбка сползла с его лица. — Говорю тебе честно, Страж. Бесплатно. А мы ничего не отдаём бесплатно, ты знаешь.

— Знаю. А ещё знаю, что демоны всегда говорят «это не мы». У вас это вместо «здравствуйте».

Он бросился на меня раньше, чем я договорил.

Они всегда быстрее, чем ты ждёшь. Сколько бы лет ты ни работал, тело до последнего надеется, что перед ним человек, и тратит на эту надежду полсекунды. Полсекунды ему хватило, чтобы ударить меня плечом в грудь, и я влетел спиной в мусорный бак. Бак загрохотал на весь Ривер-Норт. Пальцы демона сомкнулись у меня на предплечье, и сквозь кожу куртки я почувствовал жар раскалённой кочерги. Запахло палёным. Мной.

— Тише, тише, — шептал он мне в лицо, и от него несло серой и палёной шерстью. — Я только посмотрю. Одним глазком. Что у тебя внутри, Страж? Кого ты любил? Ох… Сестрёнку. Маленькую…

Вот это он зря.

Я ударил его лбом в переносицу. Хрустнуло. Пальцы на

моей руке на секунду разжались, и этой секунды хватило: я провернулся, перехватил нож обратным хватом и вогнал белое железо ему под рёбра, снизу вверх, туда, где у человека было бы сердце, а у этих — то, что его заменяет.

Он не закричал. Демоны почти никогда не кричат. Он посмотрел на меня удивлённо, почти обиженно, как ребёнок, которому не дали досмотреть мультфильм, и угольки в его глазах вспыхнули ярко-ярко — и начали гаснуть. От раны по нему побежали трещины, как по пересохшей глине, и в каждой тлел красный свет.

— Иди в Гавань, Страж, — прошептал он, и в голосе снова мелькнула улыбка. — Тебя там… заждались. Тебе понравится. Она всем… нравится.

И осыпался.

Секунду назад у меня в руках был человек, а теперь между пальцами шуршал тёплый серый пепел, и ветер с озера, который всё-таки нашёл дорогу в этот переулок, уже тащил его прочь, к реке.

Я постоял, отдышался. Посмотрел на предплечье: на коже куртки выгорели четыре полосы, под ними наливались четыре красных волдыря. Завтра будет весело.

— Сестрёнку, — повторил я вслух. — Ну ты и мразь.

Пепел ничего не ответил. Пепел никогда не отвечает, за это я его и люблю.

«Кто-то режет людей светом», — сказал он. Демоны врут, как дышат. Но эту фразу он сказал без улыбки. Я отправил

её на ту же полку, куда складываю всё, о чём Зик велит не думать. Полка начинала трещать.

* * *

Печать не успокоилась.

Вот что было по-настоящему странно. Тварь мертва, рядом ни души, а знак на груди не остывал. Наоборот, жар стягивался в одну точку, будто кто-то воткнул мне под рёбра рыболовный крючок и потихоньку тянул за леску. На запад.

За шестнадцать лет такого не случалось ни разу.

Я завёл мотоцикл и поехал туда, куда тянуло. Это оказалось несложно: стоило свернуть не туда, крючок давил больнее, стоило выбрать верный поворот — отпускал. Как в детской игре «горячо — холодно», только ставки повыше. Чикаго в четвёртом часу ночи пустой и гулкий. Светофоры мигают сами себе. Ветер гоняет пакеты. Наверху ползёт пустой поезд надземки, весь в жёлтых окнах, как аквариум, из которого выловили всех рыб.

Крючок привёл меня на Лейк-стрит, в старый квартал за рекой, где над улицей на ржавых стальных опорах тянутся пути надземки и даже днём стоят сумерки. Кирпичные склады, переделанные под лофты, закрытая прачечная, вьетнамская забегаловка. И бар.

Трёхэтажный кирпичный дом под самой эстакадой, такой старый, что казался вросшим в землю. Окна первого этажа светились тёплым янтарным светом. Над дверью горела неоновая вывеска, у которой работала едва ли половина букв,

но я и так знал, что там написано. Демон сказал мне.

«Тихая гавань».

Я заглушил мотор в тени опор через улицу, и Печать полыхнула так, что у меня на секунду потемнело в глазах. Будто на грудь легла горячая ладонь и надавила. Я сжал зубы и подождал, пока отпустит.

Не отпустило. Но что-то было не так, и мне понадобилось время, чтобы понять, что именно.

Это было не совсем больно.

Я списал всё на усталость и стал смотреть.

Внутри было человек пятнадцать — многовато для половины четвёртого в будний день. Старик в шляпе у стойки. Пара за угловым столиком: держатся за руки и не разговаривают. Трое молчаливых мужчин в рабочих куртках. Тощая девчонка в слишком большом свитере, которая сидела у самой стены и вздрагивала каждый раз, когда над крышей проходил поезд. Обычные люди. Если не смотреть на тени. У половины из них тени ложились не туда, куда падал свет.

А за стойкой стояла она.

Я видел в жизни много красивых женщин. Я в целом за. Но тут было что-то другое, и я до сих пор не уверен, что могу объяснить, что именно.

Она была высокой: если бы мы стояли рядом, её макушка пришлась бы мне как раз на уровень губ. Тонкая, в чёрном платье с рукавами, закатанными до локтей. Длинные чёрные волосы она скрутила в узел и проткнула карандашом, но узел

сдавался, пряди падали ей на шею, а она не замечала. Она двигалась так, будто у неё нет ни одного лишнего движения: бутылка, стакан, лёд, салфетка, сдача. Старик в шляпе что-то ей сказал, и она рассмеялась, запрокинув голову. Смех у неё был хороший. Только глох на полпути, как мотор на морозе, и до глаз не доходил.

Я заставил себя перевести взгляд на зал. Через минуту обнаружил, что снова смотрю на неё. В моей работе это называется коротко: покойник.

И ещё. За её спиной, там, где в каждом баре мира висит зеркало, чтобы бутылок казалось больше, а посетители казались себе симпатичнее, была только тёмная деревянная стена с полками.

В баре без зеркала хозяйка либо очень не любит своё лицо, либо очень не любит то, что может в зеркале увидеть. Лицо у неё было такое, что первый вариант я отмёл сразу.

В четыре она погасила свет, и я понял, что просидел через улицу от бара сорок минут и ни разу не посмотрел на часы.

* * *

Следующие двое суток я провёл с пользой. Днём отсыпался в комнате над закрытой часовней в Пилсене, которую Орден держит для таких, как я: узкая койка, распятие, кофеварка, которая плюётся. Потом поднял городские записи. Бар «Тихая гавань», лицензия на продажу алкоголя с две тысячи девятнадцатого года, владелица — Люси Делакруа, двадцать девять лет. Ни соцсетей, ни штрафов, ни бывших му-

жей. Мать — Эвелин Делакруа, заявление о пропаже от октября две тысячи девятого. Не найдена. Отец — прочерк.

Делакруа. «От креста». Хорошая фамилия для женщины, у которой в баре пьют демоны.

А ночами я смотрел.

«Гавань» открывалась в девять и закрывалась в четыре. По будням гостей было больше, чем по выходным: выходные — для людей, будни — для остальных. Внутрь я не совался. На пороге, на старых каменных ступенях, были вырезаны знаки, которых я не знал. Не наши. Старше наших. Когда в первую ночь я подошёл к двери, просто взглянуть, Печать дёрнулась так, будто меня ударило током, и я решил, что взглянуть можно и из-за угла.

Она ни разу не посмотрела в окно. Ни разу за две ночи. Люди, которые не знают, что за ними следят, хоть иногда смотрят в окно. Те, кто знает, не смотрят никогда.

На вторую ночь, ближе к четырём, я отошёл на четыре минуты, за хот-догом к круглосуточной тележке на углу. Когда я вернулся, на седле мотоцикла стоял бумажный стаканчик. Горячий. На крышке чёрным маркером, ровным почерком было написано:

«Чёрный, без сахара. Третья ночь — последняя. Л.»

Я огляделся. Улица была пуста. В окнах «Гавани» гас свет, и за стойкой уже никого не было.

Как она узнала, что я пью чёрный без сахара, я не знаю до сих пор. Может, угадала. Может, по мне видно.

Если бы она хотела меня отравить, рассудил я, то не стала бы подписываться. Логика так себе, Зик бы меня убил. Я выпил.

Кофе был отличный. Это бесило больше всего.

* * *

На третью ночь я решил, что хватит.

Не потому, что она велела. Наоборот. Потому что за три ночи я так ничего и не понял, а не понимать я не люблю. Полжизни у меня всё было просто: есть люди, есть твари, есть нож. А тут была женщина, которая укрывает тварей, варит лучший кофе к западу от озера Мичиган и смеётся так, будто кто-то давно запретил ей смеяться. И знак на моей груди, который рядом с ней вёл себя как стрелка компаса над магнитом: крутился и не мог решить, где теперь север.

В четыре свет в «Гавани» погас. Последние посетители разошлись по одному, и никто из них на меня не оглянулся, хотя, готов поспорить, все знали, что я здесь. Входная дверь закрылась. Она не вышла.

Крючок под рёбрами потянул влево, за угол, в переулок за баром.

Я пошёл.

Переулок был узкий, мокрый, заставленный ящиками из-под пива. Из решётки в асфальте поднимался пар, над головой чернела эстакада, на кирпичной стене горела одна лампочка в проволочной сетке. Задняя дверь бара была закрыта. Я сделал шаг, второй, третий…

Над головой с грохотом, от которого задрожали стёкла во всём квартале, пошёл поезд. Первый утренний. Я на секунду поднял глаза.

А когда грохот стих, к моему горлу, точно под челюстью, прижалось холодное лезвие.

— Не дёргайся, Страж, — сказали у самого моего уха.

Голос был низкий, спокойный, с лёгкой хрипотцой, как у человека, который весь вечер разговаривал и немного устал от людей.

— Я предупреждала. Третья ночь — последняя.

Нож лежал ровно, профессионально, без малейшей дрожи. Она стояла вплотную — я спиной чувствовал её тепло, и от неё пахло дымом, апельсиновой коркой и чем-то тёмным, пряным, как гвоздика в глинтвейне. Печать горела так, что я слышал собственное сердце. Хотя, возможно, Печать была ни при чём.

Шестнадцать лет я охочусь на тварей, которые умеют подкрадываться. Её шагов я не услышал.

— Вы всегда встречаете гостей с ножом у горла? — спросил я.

Глава 2. Люси

— Только тех, кто три ночи подряд сидит у моего бара, как гриф на заборе.

Он хмыкнул. Я почувствовала это лезвием: короткая дрожь горла под сталью.

— Гриф — это обидно. Я рассчитывал хотя бы на ястреба.

— Ястребы охотятся. Грифы ждут, пока кто-нибудь умрёт. Вы три ночи чего-то ждали.

Я заметила его в первую же ночь. Его трудно было не заметить: мужчина такого размера, неподвижно сидящий на мотоцикле в тени опор, — это не тень, это заявление. Он думал, что спрятался. Мужчины вообще часто думают, что спрятались, когда просто перестали шевелиться.

Но заметила я его не поэтому.

У меня есть дар — так это называла бабушка. Я называю его по-разному, в зависимости от дня недели. Я вижу лица. Не те, что люди носят, а те, что у них под кожей. У людей обычно всё совпадает: усталость — это усталость, злость — это злость. У демонов под лицом пепел и угли, и чем старше демон, тем глубже приходится смотреть. У Стражей под рубашкой, слева, светится Печать, как лампочка, накрытая одеялом. Я видела троих за свою жизнь. Двоих — издалека. Третий убил моего друга у меня на глазах, когда мне было двадцать два, и после этого я научилась держать нож.

У этого Печать тоже светилась. Но под ней было что-то ещё. Тонкое, золотое, как солнце сквозь закрытые веки. Оно шло от груди по всему телу, по рукам, по шее, и когда он поворачивал голову к моим окнам, мне казалось, что я смотрю на него сквозь ресницы в летний полдень.

Я никогда такого не видела. Мне это не понравилось. Я не люблю того, чего не понимаю. В этом, кажется, мы с ним были похожи.

— Я не ждал, — сказал он. — Я наблюдал.

— За чем?

— За тем, кто у вас пьёт. Половина ваших гостей отбрасывает тени не туда, куда падает свет, мисс Делакруа.

Моё имя. Он произнёс его так, будто попробовал на вкус и решил, что оно ему нравится.

— Вы знаете, как меня зовут.

— Я знаю больше. — Он помолчал. — Я знаю, что ваша мать пропала в октябре две тысячи девятого. Мне жаль.

Нож сам собой вдавился чуть глубже. Под лезвием дрогнула кожа, и я ненавидела себя за то, что рука, которая не дрожала ни разу за этот вечер, теперь была готова.

— Не смейте, — сказала я тихо. — Не смейте говорить о моей матери так, будто вы читали её дело.

— Я читал. Первую страницу.

— Значит, вы прочли больше, чем полиция. Они остановились на слове «совершеннолетняя».

Он мог бы вывернуться. Я знала это так же точно, как

знаю, сколько льда уходит за смену. Он стоял расслабленно, как стоят люди, которым не нужно напрягаться, чтобы быть опасными. Одно движение плечом, разворот, перехват запястья — и нож оказался бы у него. Он этого не сделал. Он позволял мне держать лезвие у своего горла, и это злило сильнее, чем если бы он попробовал.

— Можно я повернусь? — спросил он. — Разговаривать с женщиной затылком невежливо. Мама учила меня манерам. Немного. В основном за столом.

— А подглядывать в чужие окна она вас не учила, что невежливо?

— Она учила, что, если в доме кто-то в беде, надо сначала заглянуть в окно, а уже потом ломать дверь.

— В моём доме никто не в беде.

— Тогда почему вы держите нож?

Очко в его пользу.

Я отвела лезвие на два сантиметра. Не больше. Он медленно повернулся, и сталь проехала по его шее полукругом, не оставив следа.

Вблизи он оказался ещё больше, чем через улицу. Мне пришлось поднять подбородок, чтобы смотреть ему в глаза, а я не помню, когда в последний раз так делала: во мне метр семьдесят три, и на каблуках я обычно смотрю на мужчин сверху вниз, что меня вполне устраивает. Щетина. Шрам, рассекающий левую бровь. Глаза серые, светлые, как озеро в ноябре, когда в воду ложится небо. Рот человека, который

слишком привык улыбаться для того, кто зарабатывает на жизнь убийством.

Он тоже смотрел. Медленно, внимательно, без всякого стеснения, как смотрят на карту местности, которую предстоит пройти. На моих губах он задержался на долю секунды дольше, чем следовало. Потом на ноже. Потом снова на глазах.

Я отметила, что моё тело на него реагирует, так же, как отмечаю, что в баре кончается лёд: факт, с которым придётся что-то делать. Позже. Желательно никогда.

— Женщины с выжженными глазами, — сказал он. — Четыре за две недели. Все в радиусе трёх миль от вашего бара.

— Три мили — это пол-Чикаго. С такой логикой вы и мэрию заподозрите.

— Мэрия не поит демонов виски.

— Это вы так думаете.

Угол его рта дёрнулся. Он не позволил себе улыбнуться. Я тоже.

— Мои гости никого не убивают, — сказала я. — Они пришли сюда, чтобы перестать.

— Демоны не перестают. С тем же успехом можно попросить огонь не жечь.

— А Стражи перестают? — Я наклонила голову. — Скажите, из тех, кого вы превратили в пепел, многие кого-нибудь убили? Вы спрашиваете, прежде чем ударить, или в Ордене это считается дурным тоном?

Он помолчал. Над нами по эстакаде проползла пустая электричка, и её свет пробежал по его лицу полосами.

— Сегодня спросил, — сказал он.

— И?

— Он сказал: «Это не мы».

— А вы?

— А я сказал, что все демоны так говорят.

— И убили его.

— Он лез мне в голову. Без приглашения.

— Какое совпадение, — сказала я. — Вы три ночи лезете в мой бар. Тоже без приглашения.

Тут он улыбнулся по-настоящему, и я поняла, что совершила ошибку. Не потому, что улыбка была красивая, хотя она была. А потому, что в ней не было ни капли злости. Он улыбался так, будто я выиграла раунд в игре, которая нравилась ему всё больше.

— Почему у вас за стойкой нет зеркала? — спросил он.

Вопрос был таким неожиданным, что я ответила раньше, чем успела подумать.

— Не люблю смотреть, как люди врут себе в глаза.

— Хороший ответ. Неправдивый, но хороший.

— А у вас, Страж, на всё есть ответы?

— Нет. Поэтому я здесь.

За моей спиной скрипнула задняя дверь.

— Люси? — Тонкий голос, почти шёпот. — Люси, всё хорошо? Ты долго…

Ния. Чёрт.

Я не обернулась. Я смотрела на него и поэтому увидела всё. Как он дёрнулся, будто его ударили в грудь. Как Печать под его рубашкой вспыхнула для меня белым, так ярко, что я на секунду зажмурилась. Как его рука сама собой ушла к поясу, туда, где, я знала, висит нож из белого железа.

Я шагнула вправо и встала между ними.

— Иди внутрь, Ния.

— Это он? Тот, с мотоциклом? — Она стояла в дверях, вцепившись в косяк обеими руками: огромный свитер, тощие запястья, волосы как воронье гнездо. Под её лицом, под лицом испуганной четырнадцатилетней девочки, тлело другое, обугленное, и оно тоже было испуганным. — Люси, он нас…

— Никого он не тронет. Иди вниз. Этот дядя уже уходит.

— Дядя? — тихо переспросил он у меня за спиной, таким оскорблённым тоном, что в любой другой день я бы рассмеялась. Я вообще-то умею смеяться. Когда-то даже умела шутить, и неплохо. Просто последние семь лет поводов было немного.

Ния исчезла. Дверь хлопнула. Я снова повернулась к нему, и нож в моей руке больше не был ни шуткой, ни угрозой. Он был обещанием.

— Если вы хоть пальцем…

— Я понял, — сказал он. Голос у него изменился, стал тише. Он смотрел на закрытую дверь, и на его лице было

то, чего я не ожидала увидеть у Стража. Растерянность. — Сколько ей?

— Какая разница?

— Мне — есть.

— Она старше вас, — сказала я. — Старше нас обоих, вместе взятых. И она третий год боится спать без света, потому что там, откуда она сбежала, свет не гаснет никогда. Ещё вопросы?

Вопросы у него были. Я видела это по тому, как сжались его челюсти. Но задать их он не успел.

— Браво.

Медленные хлопки, гулкие, как в пустом театре. Мы оба обернулись.

В конце переулка, там, куда уже не доставала лампочка в сетке, стоял Ашер.

Он всегда появляется так. Не приходит, не подъезжает, не открывает дверей. Его просто нет, а потом он есть, и ты не можешь вспомнить, когда именно это случилось. Кремовый костюм, светлый, как сливки в кофе, на плечах тёмное пальто, которое он никогда не надевает в рукава. Пар из решётки обтекал его, как вода обтекает камень, не смея коснуться. В руке у него был разломленный гранат, и он неторопливо выбирал зёрна длинными пальцами. Сок тёк по запястью, как кровь, и не пачкал манжету.

Ашер. Моя крыша. Мой кредитор. Мой единственный друг, если считать другом того, кто ни разу ничего не сделал

для тебя бесплатно.

Я никогда не любила смотреть на его настоящее лицо. Не потому, что оно уродливо. Наоборот. Под его лицом — красивым, сытым, слегка скучающим — было другое, ещё красивее, и от этой красоты хотелось отвернуться, как от витрины ювелирного магазина, где ты точно знаешь, что ничего не можешь себе позволить.

Рядом со мной Страж втянул воздух сквозь зубы. Я покосилась на него: Печать под рубашкой горела так, будто к груди приложили раскалённый утюг. Он не шелохнулся. Только пальцы на рукояти ножа побелели.

— Делакруа, — пропел Ашер, подходя ближе. Каждый его шаг был ленивым и при этом каким-то образом слишком быстрым. — Ты завела себе ручного Стража? Я всегда говорил, что тебе нужно хобби. Но, признаться, я имел в виду вязание.

— Ашер, не сейчас.

— Сейчас самое время. — Он остановился в трёх шагах от нас и с интересом осмотрел Стража с головы до ног, как осматривают лошадь на ярмарке. — Пол Мерсер. Тридцать четыре года. Гэри, Индиана. Мотоцикл британский, вкус сомнительный, сердце разбито в семнадцать лет и склеено церковным клеем. Ничего не упустил?

— Обаяние, — сказал Пол. — Ты забыл про моё обаяние.

— Не забыл. Решил быть вежливым.

Ашер отправил в рот гранатовое зерно и перевёл взгляд

на меня.

— Сердце моё. Отдай его мне.

Он сказал это так, как просят передать соль.

— Тихо, аккуратно, без крови на твоём чистом асфальте. Утром его мотоцикл найдут на дне реки, а его самого не найдут нигде. Его святые отцы решат, что этот город его проглотил. Он ведь такой прожорливый, наш город.

— Нет.

— Почему? Он пришёл к тебе с ножом.

— Это я пришла к нему с ножом.

— Тем более. Доведи начатое до конца, это полезно для самооценки.

— Убьёшь Стража на моём пороге, и через неделю здесь будет весь Орден. Тебе это нужно?

— Мне? — искренне удивился Ашер. — Мне нужно, чтобы тебе было хорошо, Люси. Всегда только это. Ты же знаешь.

Я знала. Это-то и пугало.

Он снова повернулся к Полу, и голос его изменился. Стал мягче, ниже, почти нежным. Таким голосом Ашер говорит, когда собирается что-то продать.

— А тебе, Страж, у меня есть предложение получше. Тебе ведь до сих пор снится тот дом? Лестница. Дождь по жестяному подоконнику. Дверь в её комнату приоткрыта, вот на столько. — Он показал двумя пальцами щель шириной в ладонь. — Ты ведь так и не знаешь, кто был там в ту ночь.

На самом деле. Не то, что тебе рассказали твои святые отцы.

Пол стоял очень тихо. Так тихо, что я перестала слышать его дыхание.

— Я знаю имя, — ласково сказал Ашер. — И цена тебе понравится. Она почти ничего не стоит. Ну… почти.

— Пошёл ты, — сказал Пол. Негромко, без выражения. Но я стояла рядом и видела, чего ему стоили эти два слова: тёплое сияние в нём потемнело, будто на солнце набежала туча.

— Пойду, — легко согласился Ашер. — Но ты придёшь. Все приходят. Рано или поздно каждый приходит ко мне за тем, чего не может получить у своего бога.

Он бросил Полу гранатовое зерно. Тот поймал его машинально, не глядя, — и тут же разжал пальцы, будто обжёгся. Зерно упало в лужу и легло на дно, красное, как капля крови.

— Хватит, — сказала я. — Оба. Ашер, внутрь. Страж — вон из моего переулка.

Ашер улыбнулся мне и прошёл мимо нас к задней двери. Открывать её ему не понадобилось.

Мы остались вдвоём. Пар поднимался из решётки, где-то далеко выла сирена.

Он сделал шаг ко мне. Я не отступила. Не потому, что не боялась, а потому, что это мой переулок. Между нами осталось сантиметров двадцать, и мне снова пришлось поднять подбородок. От него пахло холодным воздухом, бензином, кожей и почему-то хвоей.

Я поймала себя на том, что запоминаю этот запах. Сказала себе, что это профессиональная привычка — запоминать опасных. Почти поверила.

— Если я узнаю, что женщин убил кто-то из ваших, — сказал он тихо, — я вернусь. И нож в этот раз будет у меня.

— Если вы ещё раз сядете под моими окнами, — сказала я так же тихо, — кофе будет с мышьяком.

— Без сахара?

— Без сахара.

Он посмотрел на меня ещё секунду. Потом взгляд опустился к моим губам и вернулся. Он даже не пытался это скрыть. И в этот раз секунда была длиннее.

— Люси, — сказал он. Просто моё имя. Будто проверял, как оно звучит, если произнести его вслух в темноте.

Мне не понравилось, как оно прозвучало. Мне не понравилось, что мне это понравилось.

— Мисс Делакруа, — поправила я.

— Спокойной ночи, мисс Делакруа. Спасибо за кофе. Он был теплее, чем вы.

Он развернулся и пошёл к выходу из переулка, а я стояла, смотрела ему в спину и злилась, что смотрю.

У самого угла он остановился, не оборачиваясь.

— И ещё. Ваш друг в белом врёт, когда говорит, что ему нужно, чтобы вам было хорошо.

— Откуда вам знать?

— Печать. Рядом с ним она горит, как утюг.

— А рядом со мной?

Я не собиралась этого спрашивать. Это вырвалось само.

Он помолчал.

— Рядом с вами она горит иначе, — сказал он наконец. И ушёл.

* * *

Ашер сидел за стойкой на моём месте, закинув ногу на ногу, и пил мой лучший скотч из моего лучшего стакана.

— Он тебе понравился, — сказал он, не оборачиваясь.

— Он мне не понравился.

— Ты держала нож у его горла семь минут и ни разу не порезала. Ты срезаешь цедру с лимона ровнее, чем иные хирурги режут людей, Люси. Ты могла его порезать.

— Я не хотела крови на своём пороге.

— Конечно. — Он отпил. — Порог.

Я начала протирать стаканы. Это то, что я делаю, когда не знаю, что делать. В «Гавани» я протёрла, по моим подсчётам, около полумиллиона стаканов. Они не стали чище. Я тоже.

— Зачем ты ему это сказал? Про сестру.

— Потому что это правда.

— Ты знаешь, кто её убил?

— Я знаю очень многое, сердце моё. — Он развернулся на табурете ко мне лицом. — Например, я знаю, что семь лет назад ты пришла ко мне вся в чужой крови и попросила место, где никто не тронет тех, кого ты любишь. Я дал тебе это место. Мои печати держат эти стены. Ни один Страж не пе-

реступит порог. Ни один ангел не заглянет в окно. По крайней мере, пока луна не войдёт в силу: печати, как и всё на свете, не любят затмений. — Он постучал пальцем по стойке. — Кстати, об окнах. Ты всё ещё не держишь здесь зеркал?

— Бабушка говорила…

— «Никогда не смотри в зеркало после заката, Люси. Оттуда тоже смотрят», — передразнил он её голос так точно, что у меня по спине прошёл холод. — Мудрая была женщина. Жаль, рано ушла.

— Чего ты хочешь, Ашер?

— Я? Ничего. — Он улыбнулся. — Ты должна мне одну услугу. Ты помнишь условия.

— Одну услугу. Когда попросишь.

— Когда попрошу, — согласился он. — Я ещё не попросил. Видишь, какой я терпеливый.

Он наклонился над стойкой ближе ко мне, и в его глазах на секунду мелькнуло то, что пряталось под лицом, — красивое и голодное.

— Ты ведь могла бы не прятаться, Люси. Не мыть эти стаканы до рассвета. Не считать каждый доллар. Не вздрагивать от каждой полицейской сирены. Этот город мог бы лежать у твоих ног, весь, со всеми его небоскрёбами. Одно слово. Только скажи «да».

— Ты предлагаешь мне это семь лет.

— И буду предлагать ещё семьдесят. Я никуда не тороплюсь. — Он выпрямился и поправил пальто на плечах. — А

вот твой Страж торопится. И это меня беспокоит.

— Он не мой.

— Он для тебя опасен.

— Потому что он охотник?

— Потому что ты на него смотрела. — Ашер поставил стакан на стойку, точно на влажный круг от предыдущего. — Я смотрю на людей очень давно, Люси. Я знаю этот взгляд. Так смотрят на край крыши.

Он ушёл так же, как пришёл: только что был — и вот его нет. На стойке остались половинка граната, вывернутая наизнанку, и пустой стакан.

Я долго стояла и смотрела на гранат. Потом выбросила его в мусор.

* * *

Подвал «Гавани» — самое тёплое место в доме. Там проходят старые трубы отопления, и всю зиму они гудят, как большой ленивый зверь. Семь раскладушек, пледы, обогреватель, полка с книгами, которые библиотека отдала мне на списание, и гирлянда из лампочек, которая не выключается никогда.

Миссис Оукли вязала в кресле у обогревателя. На вид ей за семьдесят, она носит шляпки с вуалью, по воскресеньям печёт лимонный пирог и за последние триста лет не тронула ни одной души, о чём рассказывает каждому новенькому с гордостью бывшей алкоголички. Трое братьев в рабочих куртках, которые не говорят ни на одном человеческом язы-

ке и чинят в «Гавани» всё, что ломается, спали в углу вповалку, как щенки.

Ния не спала. Она лежала под тремя пледами и смотрела на гирлянду.

— Он нас убьёт? — спросила она, когда я села на край раскладушки.

— Нет.

— Откуда ты знаешь?

— Потому что я не дам.

Я погладила её по волосам. Под моей ладонью, под тёплой человеческой кожей, тихо тлело, и я давно перестала это замечать, как перестаёшь замечать шрамы у тех, кого любишь.

На самом деле я не знала. Я давно уже ничего не знала наверняка, кроме того, что лёд кончается к полуночи, а люди врут. И что от этого Стража ложью не пахло, когда он спросил, сколько ей лет. Вот это и было хуже всего.

* * *

Я живу над баром, на третьем этаже. Две комнаты, кухня размером с телефонную будку и окно во всю стену, за которым проходит надземка, так близко, что можно разглядеть, какие книги читают пассажиры. В квартире нет ни одного зеркала. Волосы я расчёсываю на ощупь, а помаду наношу по памяти. Бабушка бы мной гордилась.

Я легла не раздеваясь и долго смотрела в потолок.

Серые глаза. Шрам через бровь. «Рядом с вами она горит иначе».

Как именно иначе, хотелось бы мне знать. Хуже? Лучше? Как вообще может гореть иначе знак, созданный для того, чтобы чуять ад?

Я перевернулась на бок и запретила себе об этом думать. Я хорошо умею себе запрещать. Это единственное, что у меня получается лучше коктейлей.

В 5:52 зажужжал телефон.

Эдди Ковальски. Старик в шляпе, который последние шесть лет каждую ночь сидит у меня за стойкой. Бывший коп, тридцать лет в отделе убийств, вдовец. Один из немногих людей в этом городе, кто знает, кто пьёт у меня по будням, и ни разу не задал ни одного лишнего вопроса.

«Не выходи из дома. На станции Клинтон пятая. Молодая. У неё в руке подставка для пива из твоего бара. Копы будут у тебя к обеду. Я ничего не знаю, ты ничего не знаешь. Э.»

Станция Клинтон — в трёх кварталах отсюда. Её платформу видно из моего окна, если высунуться и посмотреть направо вдоль эстакады.

Я не стала высовываться. Я села на кровати, обхватив колени, и смотрела в окно, в чёрное ещё, ночное стекло, в котором отражались комната, кровать и я сама, маленькая и бледная.

И мне показалось — на одно короткое мгновение, — что моё отражение повернуло голову чуть раньше, чем я.

Глава 3. Пол

Я не спал.

Я сидел на краю койки в комнате над часовней и мазал волдыри на предплечье мазью из аптечки Ордена. Она пахнет мятой и ладаном и не помогает ни от чего, кроме, может быть, лишних надежд. За окном серел Пилсен: мокрые крыши, кирпичные стены с яркими муралами, пекарня на углу, где уже горел свет. Обычное чикагское утро. Люди просыпались, ставили кофе, ругались с детьми из-за шапок, и ни один из них не знал, что ночью на Уэкере умерла женщина в жемчуге.

Я думал о двери.

Ширина в ладонь. Ашер показал её двумя пальцами, небрежно, как показывают размер пойманной рыбы. А у меня в голове щёлкнуло так, что я до сих пор слышал этот звук.

Я никому не рассказывал про дверь. Ни полиции. Ни маме. Ни Зику, хотя за шестнадцать лет он вытряс из меня почти всё. Про дверь знал только я.

Гэри, Индиана. Вторник, двенадцатое ноября. Дождь. Мне семнадцать, у меня права, которым две недели, и девушка по имени Дженни Кэрролл, которая разрешает целовать себя в машине своего отца. Мама в ночную смену в больнице. Я обещал Эмми быть дома в десять. Она боялась грозы и ни за что бы в этом не призналась, потому что ей было две-

надцать и она считала себя взрослой.

Я приехал в 23:40.

В доме не горел свет. На лестнице пахло горелым сахаром. Дождь стучал по жестяному подоконнику на площадке, мерно, как метроном. А дверь в её комнату была приоткрыта. На ширину ладони.

Я не буду рассказывать, что увидел, когда её открыл. Я никому не рассказывал. Скажу только, что с тех пор не могу есть сладкое.

Через два дня, после похорон, ко мне на заднем дворе подошёл человек в сером пальто. Седой, с лицом, как старый сапог, и голосом, как наждачная бумага. Он сказал, что знает, кто это сделал. Что таких, как оно, много. Что я могу сидеть и сходить с ума, а могу научиться их убивать. Через неделю я уехал с ним. Маме оставил записку. Больше мы не разговаривали — шестнадцать лет, ни звонка, ни письма. Я говорил себе, что так ей легче. Я много чего себе говорил.

Я не плакал. Ни тогда, ни потом. Наверное, поэтому мне до сих пор снится эта лестница.

А Ашер знал про дверь.

Я встал и пошёл вниз. Когда мне плохо, мне нужно что-то делать руками.

* * *

Часовня Святого Михаила закрылась лет двадцать назад, когда приход слили с соседним. Скамьи накрыты пыльными простынями, алтарь пуст, со стен сняли всё, что мож-

но было продать. Осталось только окно над алтарём: высокий стрельчатый витраж, ангел с мечом, попирающий змея. Синие одежды, золотые волосы, красный змей. Окно Орден продавать не стал. Окна Орден не продаёт никогда.

Я сел на первую скамью, разложил на простыне тряпку, масло, брусок и взялся за нож. Белое железо капризное: не любит воды, не любит крови и не любит, когда его долго не трогают. Как некоторые люди.

Солнце поднялось над крышами в 7:04 и ударило в витраж.

Сначала ничего не случилось. Просто цветные пятна легли на пол, на простыни, на мои руки — синие, золотые, красные. Красиво. Я даже на секунду забыл про дверь.

Потом стекло запело.

Не зазвенело — запело. Как будто где-то очень далеко огромный хор тянет одну ноту, и голосов в этом хоре больше, чем людей на земле. Звук шёл не из окна. Он шёл изнутри моего черепа. Цветные пятна на полу задрожали и поползли друг к другу, сливаясь в одно — белое.

Печать на груди остыла. Не перестала жечь, а именно остыла, стала холодной, как монета, забытая на ночь на морозе. Так бывает всегда, когда Он рядом. Зик называет это благодатью.

Я отложил нож и опустился на одно колено на каменный пол. Колено заныло: старая травма, футбол, одиннадцатый класс. Благодать на неё не действует.

Ангел в витраже повернул голову.

Стеклянная голова, стеклянная шея, свинцовые швы между кусочками цветного стекла — всё это повернулось с тихим хрустом, как лёд на реке в марте, и посмотрело на меня. Лицо ангела налилось светом, стекло стало прозрачным, и за ним, там, где должно было быть серое утреннее небо Пилсена, проступило другое лицо. Слишком правильное, чтобы быть человеческим: всё в нём было выверено, как в чертеже. И глаза, раскалённые добела, как нить в лампочке за секунду до того, как она перегорит.

Я смотрел на него сквозь ресницы. Смотреть Ему прямо в глаза нельзя. Этому учат в первый же день.

— Страж.

Голос был везде. В стекле, в камне, у меня в зубах.

— Господин.

— Ты видел её.

Это не было вопросом.

— Да, Господин.

— Женщина из Гавани. Приведи её ко мне.

Я промолчал на секунду дольше, чем следовало. Хор в стекле не сменил ноты, но холод под Печатью стал глубже, словно мне в грудь вложили кусок льда.

— Она убийца, Господин?

— Ты задаёшь вопросы, Страж.

— Простите. Зик учил меня не думать. Я плохой ученик.

Мне показалось — только показалось, — что раскалён-

ные глаза за стеклом на мгновение сузились. Как у того, кто улыбнулся. Или у того, кто запоминает.

— Она — то, что мы ищем очень давно, — сказал Ремиэль. — Больше тебе знать не нужно.

— А женщины с выжженными глазами? Это демоны?

— Это не твоя забота. Твоя забота — она.

Прямого ответа он не дал. Я отметил это так же, как отмечаю, где в комнате выход: машинально и на всякий случай.

— Ты смотрел ей в глаза? — спросил Ремиэль.

— Да.

— Какого они цвета?

Странный вопрос. Самый странный из всех, что мне задавали за шестнадцать лет службы.

— Карие, — сказал я. — Тёмные. Как… — Я чуть не сказал «как кофе» и вовремя прикусил язык.

Свет за стеклом дрогнул. Так дрожит пламя свечи, когда кто-то рядом выдыхает.

— Хорошо, — сказал Ремиэль. — Пока они карие, время есть. Приведи её до того, как это изменится. Живой. Невредимой. Ни один волос не должен упасть с её головы, Страж.

— А если она не захочет идти?

— Ты найдёшь способ. Ты всегда находишь. И держись подальше от того, кто ест гранаты. Он лжёт, даже когда говорит правду.

Пауза. Хор стал тише.

— Не думай, Пол. Делай.

Тот же голос, те же слова, что у Зика. Только теперь я понял, откуда Зик их взял.

Свет ушёл. Хор оборвался, будто кто-то закрыл дверь. Ангел в витраже снова смотрел куда положено — вниз, на своего змея, — и цветные пятна лежали на полу как ни в чём не бывало.

Я встал. Колено хрустнуло. Из носа на верхнюю губу скатилось что-то тёплое, и я вытер кровь тыльной стороной ладони. Так всегда бывает после разговора с Ним. Зик говорит, это тоже благодать. Я считаю, благодать могла бы быть поаккуратнее.

Уже повернувшись к лестнице, я ещё раз взглянул на окно. По лицу стеклянного ангела, от виска к подбородку, тянулась трещина. Тонкая, как волос.

Вчера её не было.

В кармане зажужжал телефон. Зик.

«Он говорил с тобой. Это большая честь, сынок. Не облажайся».

Я посмотрел на часы: 7:11. С тех пор как замолчал хор, не прошло и пяти минут. А Зик был в Гэри, за тридцать миль отсюда.

Следом пришло второе сообщение:

«Пятая. Станция Клинтон на Лейк-стрит. Нашли в пять утра. У неё в руке подставка из бара твоей Делакруа».

«Твоей». Я долго смотрел на это слово.

* * *

Станция Клинтон висит прямо над Лейк-стрит: две узкие платформы по обе стороны путей, крытые лестницы и стеклянные будки с обогревом, где зимой пассажиры греются под красными лампами, как цыплята на птицефабрике. Платформу в сторону от центра оцепили жёлтой лентой. Поезда там проходили без остановки, медленно, и пассажиры липли к окнам.

Я купил билет за два с половиной доллара и поднялся на противоположную платформу. Отсюда, через два ряда рельсов, всё было видно, как из партера. Полиция об этом не подумала. Полиция вообще редко думает о том, что можно посмотреть с другой стороны.

Тело уже накрыли. Из-под простыни торчали ноги в розовых кроссовках и край медицинской формы с мультяшными зверятами. Стеклянная будка за ней треснула звездой, ровной, красивой, с центром на уровне человеческого затылка. Как вчера. Как всегда.

Но кое-что было новым.

Стекло вокруг трещины покрывал иней. В восемь утра, при плюс девяти, под красной лампой обогрева. Криминалист в синих перчатках стоял перед будкой и смотрел на этот иней так, как смотрят на собаку, которая вдруг заговорила.

Иней лёг не узором, как ложится на окна зимой. Он лёг перьями. Длинными, ровными, одно к одному, словно кто-то прижался к стеклу крылом.

Я смотрел на эти перья долго. Достаточно долго, чтобы

рядом со мной кто-то встал, а я этого не заметил.

Второй раз за сутки. Это уже становилось традицией.

— Вы опять караулите, — сказала Люси.

Она стояла в полушаге от меня, сунув руки в карманы длинного тёмного пальто. Без каблуков она оказалась ниже, чем ночью, но ненамного. Волосы она в этот раз не заколола, и они лежали на плечах тяжёлой чёрной волной, гораздо длиннее, чем я думал, — ниже лопаток. Ветер с реки трогал их, и они пахли апельсином. Под глазами тени, губы без помады. Ночью, за стойкой, она была красивой. Сейчас, бледная, злая, невыспавшаяся, она была красивой так, что мне пришлось на секунду отвести глаза. Я уставился на рекламу зубной пасты на стене напротив. Отличная паста. На тридцать процентов белее. Не помогло.

— Это общественный транспорт, мисс Делакруа, — сказал я. — Я плачу налоги.

— Вы не платите налоги.

— Я плачу Ордену десятину. Это почти то же самое, только с гимнами.

Она не улыбнулась. Она смотрела через пути, на розовые кроссовки под простынёй, и я увидел, как у неё дрогнуло лицо.

— Это Кэти, — сказала она.

— Вы её знали?

— Кэти Моралес. Медсестра из детской больницы на Чикаго-авеню. Приходила по пятницам после ночной сме-

ны, заказывала одну «Маргариту» и цедила её до закрытия. Оставляла слишком большие чаевые, потому что в колледже сама работала официанткой и помнила, каково это. — Голос у неё был ровный, но так ровно говорят люди, которые держат что-то очень тяжёлое и боятся уронить. — Она была человеком, Страж. Просто человеком. Она даже не знала, кто пьёт за соседними столиками.

Я ничего не сказал. Что тут скажешь.

Её руки в карманах сжались в кулаки, плечи под пальто мелко дрожали. Холод, может быть. А может, и нет.

У меня в руке был бумажный стаканчик из кофейни у лестницы. Я протянул его ей.

— Чёрный, без сахара.

Она посмотрела на стаканчик, потом на меня.

— Это вообще-то моя реплика.

— Он хуже вашего, — согласился я. — Но горячий. Пейте.

Секунду я думал, что она выльет его мне на ботинки. Потом она взяла стаканчик обеими руками, как берут что-то живое, сделала глоток и поморщилась.

— Он ужасный.

— Я предупреждал.

— Вы сказали «хуже». Вы не сказали «преступление».

Во внутреннем кармане моей куртки, у самого сердца, лежал шприц в пластиковом футляре. Три кубика того, что в Ордене называют «колыбельной». Укол в шею — и человек

спит шесть часов, мягко, без снов, а потом ничего не помнит. Платформа почти пустая: только мужчина в костюме у дальнего края, с газетой. Камеру над лестницей я, проходя, развернул на пару градусов к стене. До мотоцикла внизу — двадцать шагов.

«Ты найдёшь способ. Ты всегда находишь».

Она стояла так близко, что её волосы, когда налетал ветер, касались моего плеча. Пила дрянной кофе, который я ей купил, держа стаканчик обеими руками. И смотрела на мёртвую девушку в розовых кроссовках, которая оставляла слишком большие чаевые.

Я не достал шприц.

Не знаю почему. Нет. Знаю. Просто мне это не нравится.

— Что вы видите? — спросила она, не поворачивая головы. — Вы ведь видите больше, чем они.

— Иней, — сказал я. — На стекле.

Она прищурилась, и я понял момент, когда она разглядела. У неё перехватило дыхание.

— Перья, — сказала она почти беззвучно.

— Иней бывает разный.

— Вы сами в это верите?

Я не ответил.

— Демоны не оставляют перьев, Страж.

— Знаю.

— Тогда почему вы до сих пор здесь, а не там, где их оставляют?

Хороший вопрос. Ответа у меня не было. Был шприц в кармане и голос в голове, который говорил моим голосом: «Не думай. Делай».

— Почему у неё в руке ваша подставка? — спросил я вместо ответа.

— Потому что кто-то очень хочет, чтобы вы пришли ко мне. — Она кивнула через пути, на полицейских. — Или чтобы пришли они. Кто-то хочет, чтобы «Гавань» закрыли, а меня забрали. И мне очень интересно, Страж, — она наконец повернула голову и посмотрела на меня в упор, — кому это выгодно больше всех.

Карие глаза. Тёмные. Как кофе — хороший, не этот.

«Пока они карие, время есть».

Я открыл рот, чтобы ответить, и не ответил, потому что увидел наши отражения.

Мы стояли спиной к стеклянной будке на нашей платформе, и в её стекле, мутном от городской пыли, отражались двое: высокий мужчина в мотоциклетной куртке и женщина с бумажным стаканчиком. Мы смотрели друг на друга.

А наши отражения — нет.

Наши отражения медленно, одновременно повернули головы и смотрели на неё. Мой двойник в стекле тоже. Смотрел на Люси пустым, внимательным взглядом, как рыбак смотрит на поплавок.

Волосы у меня на руках встали дыбом.

И город зазвенел.

Тонко, на одной бесконечной ноте. Мокрым пальцем по краю бокала. Звук вошёл мне в зубы, в позвоночник, в корни волос. Люси вскинула голову, стаканчик выпал у неё из рук, кофе плеснул на бетон. Стекло будки за её спиной побелело изнутри, будто в нём зажгли лампу, и по нему с тихим, почти нежным хрустом побежала трещина. От центра. Звездой. Центр был точно на уровне её затылка.

Я не думал. Впервые в жизни я сделал ровно то, чему меня учили, — не думал. Только делал я совсем не то, чего от меня ждали.

Я схватил её за плечи, развернул к себе, лицом в свою куртку, и накрыл ей глаза ладонью.

— Не смотри! Что бы ни было — не смотри!

Стекло взорвалось светом.

Не осколками. Светом. Белым, плотным, тяжёлым, как вода из прорванной трубы. Он хлынул на платформу, и всё вокруг стало белым и плоским, без теней, как на передержанной фотографии. Я зажмурился так, что заболели веки, но свет пробивался даже сквозь них, розовый и горячий. Я почувствовал его затылком — не жар, а взгляд. Свет искал. Ощупывал. Как ладонь, которая шарит в темноте по стене в поисках выключателя.

У дальнего края платформы мужчина в костюме опустил газету и поднял голову.

— Не смотри туда! — заорал я.

Он не услышал.

Я не стал проверять, что было дальше. Я потащил Люси к лестнице — вслепую, одной рукой прижимая её лицо к своей груди, другой цепляясь за перила, — вниз, через три ступеньки, спотыкаясь, и она бежала со мной, не споря, вцепившись мне в куртку обеими руками. За нашими спинами свет перетекал со стекла на стекло: из будки — в окна лестничного пролёта, из окон — на витрину кофейни внизу, на стёкла припаркованных машин, на окна вьетнамской забегаловки через улицу. Вспышка, вспышка, вспышка, одна за другой вдоль всей Лейк-стрит. Как будто кто-то бежал вдоль забора с фонарём и светил в каждую щель.

Под эстакадой, между кирпичной стеной станции и стальной опорой, была щель шириной в полметра, забитая прошлогодними листьями и окурками. Я втолкнул Люси туда, вжался следом, закрывая её собой от улицы, и снова прижал ладонь к её глазам.

— Не смотри, — сказал я ей в волосы. — Пожалуйста. Не смотри.

Она не смотрела. Она стояла, прижатая спиной к кирпичу, а я стоял, прижатый к ней, и между нами не оставалось места даже для дыхания. Я чувствовал её всю: как поднимается под пальто её грудь, как колотится сердце — быстро, сильно, у самой моей рубашки. Её пальцы так и не отпустили мою куртку. Её дыхание было у меня на шее, горячее, сбивчивое. Волосы пахли апельсином и дымом. Кожа — чем-то, для чего у меня не было слова. Я подумал: если меня сейчас

убьют, это будет последнее, что я запомню. Неплохой вариант. Бывали и хуже.

По улице, совсем рядом, прошла волна света. Витрина прачечной напротив вспыхнула белым и погасла. Лобовое стекло такси у бордюра вспыхнуло и погасло. Свет скользнул по стальной опоре в полуметре от моего плеча — и не нашёл нас.

Мы не двигались.

— Ваше сердце, — прошептала Люси мне в воротник. — Оно колотится как ненормальное.

— Это кардио, — сказал я. — У меня сегодня день кардио.

Она засмеялась. Коротко, сорванно, мне в шею, и этот смех прошёл по мне, как ток по проводу. Кажется, впервые за всё время, что я её знал, её смех дошёл туда, куда должен был дойти.

Жаль, что глаза у неё были закрыты моей ладонью и я этого не увидел.

Над нами с грохотом прошёл поезд. Эстакада загудела, сверху посыпалась ржавчина. Свет на улице дрогнул и погас — сразу весь, будто где-то выдернули шнур из розетки.

Стало тихо. Только капало с эстакады, и где-то наверху, на платформе, кто-то кричал. Я не знал, был ли это мужчина с газетой. И не хотел знать.

Мы постояли так ещё немного. Дольше, чем было нужно. Я это знал, и она это знала, и ни один из нас не сказал ни

слова.

Потом я медленно убрал руку с её лица.

Она открыла глаза.

Карие. Тёмные, огромные, совсем близко, с расширенными от страха зрачками. И на долю секунды у самого края радужки мне почудилось золото: тонкий ободок, как ребро монеты, повёрнутой к свету. Она моргнула — и ничего не было. Обычные карие глаза. Самые красивые из всех, в которые я когда-либо смотрел.

Мне показалось. Я очень хотел, чтобы мне показалось.

— Это не демоны, Страж, — тихо сказала Люси. — Демоны не светятся.

— Знаю.

И только тогда я понял, что не давало мне покоя с той секунды, как зазвенело стекло.

Печать молчала. Всё это время — пока свет искал нас, пока мы бежали, пока он скользил по стали в полуметре от моего плеча — она ни разу меня не обожгла. Даже рядом с Люси. А рядом с Люси она горела всегда.

Она была холодной. Холодной, как монета, забытая на ночь на морозе.

Точно такой же, как сегодня утром в часовне, когда со мной говорил Ремиэль.

Глава 4. Люси

Меня никогда никто не закрывал собой.

Я думала об этом, стоя в щели под эстакадой, пока по Лейк-стрит выли сирены, а с опор капала ржавая вода. Бабушка учила меня прятаться. Мама — улыбаться так, чтобы никто не догадался, что ты прячешься. Ашер научил меня платить за то, чтобы прятали другие. А этот человек, которого я знала меньше суток и которому ночью держала нож у горла, просто развернул меня к себе и закрыл мне глаза ладонью. Как закрывают от ветра спичку.

Теперь он стоял передо мной, загораживая плечами улицу, и смотрел не на меня, а мимо, на дорогу: сосредоточенно, хмуро, как боксёр смотрит на противника, который ещё не поднялся. Ладонь от моего лица он убрал. Но вторая его рука по-прежнему лежала у меня на талии, и, кажется, он этого не замечал.

Я заметила.

Я посмотрела на него по-настоящему — так, как смотрю, когда хочу знать правду. Тёплый свет, который всегда жил в нём, потускнел, как латунь, которую давно не чистили. А Печать, всегда светившаяся для меня ровным белым, стала синеватой и холодной, будто подёрнутой льдом. И медленно, очень медленно, пока я смотрела, в ней снова разгоралось тепло.

Ему было страшно. И не за себя.

— Что это было? — спросила я. Голос вышел хриплым, чужим.

— Не знаю.

— Вы Страж. Вы должны знать, что звенит, светится и выжигает людям глаза.

— Мне сказали, что это демоны.

— А вы что думаете?

Он наконец посмотрел на меня.

— А я только что прятался от этого под эстакадой вместе с женщиной, которая поит демонов виски. Делайте выводы.

— Почему вы закрыли мне глаза?

— Инстинкт.

— Врёте.

— Немного, — признал он.

— Ваша рука, — сказала я. — У меня на талии.

Он опустил взгляд, будто только сейчас её обнаружил, и убрал. Не быстро. Ровно настолько медленно, чтобы я успела это почувствовать.

— Простите. Тоже инстинкт.

— А это правда?

— Это — чистая правда.

Наверху, на платформе, хлопали двери, кто-то кричал в рацию, по ступеням грохотали тяжёлые ботинки. Сирены приближались со всех сторон, и в каждой витрине Лейк-стрит, в каждом окне и лобовом стекле дрожали синие и

красные отсветы. Я старалась не смотреть ни в одно из них.

— Надо уходить, — сказал Пол. — Здесь слишком много стекла.

— В Чикаго везде слишком много стекла.

— Значит, надо уходить туда, где его нет. Мой мотоцикл за углом. Садитесь.

— Я не сажусь на мотоциклы к незнакомым мужчинам.

— Мы знакомы. Вы держали нож у моего горла, я купил вам кофе. По чикагским меркам это почти помолвка.

Я открыла рот, чтобы ответить, — и увидела чёрный внедорожник у бордюра. В его тонированном заднем стекле отражались мы оба: он, широкий и взъерошенный, и я, бледная, с растрёпанными волосами.

Моё отражение смотрело на меня. Не так, как смотрят отражения. Внимательно. Терпеливо. С лёгким вежливым интересом, как продавец смотрит на покупателя, который ещё не решил, что взять.

Потом оно чуть-чуть, на волосок, склонило голову набок.

Я не склоняла.

— Где ваш мотоцикл? — спросила я.

* * *

Я не садилась на мотоцикл с девятнадцати лет. С тех пор как Дэнни Риордан из Бриджпорта разбил свою «Хонду» и моё колено о фонарный столб на Холстед-стрит и поклялся, что это фонарь выскочил на дорогу. Колено зажило. Доверие к мужчинам на двух колёсах — нет.

Мотоцикл у Пола был чёрным, старым и ухоженным так, как ухаживают только за тем, что любят. Он протянул мне шлем — единственный.

— А вы?

— У меня крепкая голова. Спросите любого демона.

— Я спрошу полицейского, который вас остановит.

— Не остановит. Я быстро езжу.

Я села позади него, и мотоцикл ожил, загудел низко, утробно, как большой зверь, которому почесали шею. Держаться было не за что. Только за него.

Я обхватила его руками.

Под курткой он был твёрдым и тёплым, как нагретая солнцем стена. Я чувствовала, как напрягаются мышцы его живота, когда он переключает передачу, как поднимается и опускается спина от дыхания, как под моей ладонью бьётся его сердце — уже ровнее, но всё ещё быстро. Ветер выдирал мои волосы из-под шлема и хлестал ими по его плечам. Город летел мимо, серый, мокрый, в синих отсветах мигалок, а потом мы вылетели на Лейк-Шор-драйв, и справа распахнулось озеро.

Мичиган в октябре не похож на озеро. Он похож на море, которое забыло, что оно море, и от этого очень злится. Серая вода до самого горизонта, белые гребни волн, низкое небо, лежащее прямо на воде. Слева проносились небоскрёбы — стекло, стекло, бесконечное стекло, тысячи окон, — и я уткнулась лицом ему в спину, чтобы не видеть их. Он,

кажется, это почувствовал и прибавил газу.

— Куда мы едем? — крикнула я ему в ухо.

— Туда, где нет стёкол!

— В Чикаго?!

— Я знаю одно место!

* * *

Место называлось Монтроуз-бич, и я прожила в этом городе всю жизнь и ни разу здесь не была.

В октябре пляж был пуст. Ни одного человека, ни одной машины на парковке. Ларёк с мороженым, заколоченный досками. Низкие песчаные дюны, поросшие жёсткой рыжей травой, которая ложилась под ветром. Белая спасательная вышка на сваях, похожая на скелет цапли. Птицы, тысячи птиц, взлетали облаком при каждом нашем шаге и садились снова. И озеро. Серое, огромное, грохочущее.

Ни одного окна на полмили вокруг. Только небо, песок и вода.

Я и не знала, что в Чикаго бывает такое.

Мы сели на песок у подножия вышки, спиной к сваям, лицом к воде. Ветер был такой, что приходилось почти кричать. Это было хорошо. Когда кричишь, труднее врать.

— Вы привезли женщину на пустой пляж в октябре, — сказала я. — У вас все первые свидания такие?

— Это не свидание.

— Слава богу.

— На свидании я бы купил нормальный кофе.

Я фыркнула. Совершенно неожиданно для себя, коротко, носом, как фыркают лошади. И поняла, что улыбаюсь. Ветер сорвал улыбку с моих губ раньше, чем я успела её спрятать, и он это видел. Он ничего не сказал. Только уголок его рта дрогнул, и он отвернулся к воде, будто давал мне время сделать вид, что ничего не было.

Кажется, за это я его возненавидела ещё сильнее. За то, что он умел не замечать.

— Расскажите, что вы видели, — сказал он. — В стекле.

Я рассказала. Про ночное окно в моей спальне, где отражение повернуло голову раньше меня. Про внедорожник у бордюра. Он слушал не перебивая, сцепив руки на коленях, и с каждым моим словом лицо у него становилось всё неподвижнее.

— Теперь вы, — сказала я.

— Иней на станции. Перья. Вы видели.

— Это не всё.

Он помолчал.

— Когда шёл свет, Печать замёрзла, — сказал он наконец. — Она жжёт рядом с адом. Шестнадцать лет, без единой осечки. А рядом с этим она стала холодной.

— А когда ещё она бывает холодной?

Он не ответил. Посмотрел на озеро, на белые гребни, на птиц.

— Нас учат, что ангелы смотрят через стекло, — сказал он вместо ответа. — Каждое окно — их глаз. Поэтому Орден

никогда не продаёт окна. Поэтому у вас в баре нет зеркал, верно? Ваша бабушка знала.

— Значит, это ангелы.

— Ангелы не убивают людей.

— Вы в это верите?

— Я верил в это вчера.

Он сказал это очень просто. Без драмы, без надрыва, так, как говорят «вчера был вторник». Только голос стал на полтона ниже. И я вдруг поняла, чего ему стоили эти четыре слова. Человек, у которого шестнадцать лет всё было просто: есть люди, есть твари, есть нож. И вот он сидит на холодном песке рядом с женщиной, которая укрывает тварей, и говорит ей, что больше не знает, во что верит.

Мне захотелось положить ладонь ему на плечо. Я не положила.

— Что вам приказали насчёт меня? — спросила я вместо этого.

Он смотрел на воду.

— Присматривать.

Свет в нём на мгновение потускнел. Совсем чуть-чуть, будто по солнцу пробежало облачко. Я заметила, но не поняла, что это значит.

Теперь знаю.

— Перемирие, — сказала я. — Пока мы не найдём того, кто это делает.

Он повернулся ко мне.

— Условия?

— Вы не трогаете моих. Ни одного. Даже если очень захочется.

— А вы?

— А я не вру вам ни о чём, что касается убийств.

— Только об этом?

— Об остальном я вам ничего не обещаю, Страж. Я знаю вас сутки.

— Трое. Если считать слежку.

— Слежку я не считаю. Слежка — это не знакомство. Это правонарушение.

— А если окажется, что это кто-то из ваших?

— Тогда я сама отдам вам нож.

Он посмотрел на меня долгим взглядом. Серые глаза, светлые, как сегодняшнее небо. Потом протянул руку.

Я пожала её. Ладонь у него была широкая, жёсткая, с мозолями от руля и от рукояти ножа, и очень тёплая. И в ту же секунду Печать у него на груди вспыхнула для меня белым и золотым, ярко, как раньше, — нет, ярче, — и он выдохнул так, будто долго не дышал.

— Вот, — сказал он тихо. — Теперь горит.

— Это хорошо или плохо?

Он не отпускал мою руку.

— Это значит, что всё на своих местах.

Я забрала руку. Не сразу.

— И перестаньте называть меня Стражем, — сказал он.

— Меня зовут Пол.

— Я знаю, как вас зовут.

— Тогда почему?

— Мне нравится, как вы морщитесь.

Он засмеялся. Громко, запрокинув голову, так, что с ближней дюны взлетело облако птиц. Смех у него был хороший — сразу весь, от живота, без остатка. Как у человека, у которого никогда не было причин его прятать.

И на одну секунду, сама не знаю почему, мне почудилось, что я уже слышала этот смех. Очень давно. Под другим небом, где трава светилась изнутри.

Я смотрела на него и думала, что Ашер был прав. Так смотрят на край крыши.

* * *

Детектив Харрис ждал меня у «Гавани» в половине второго, как и предупреждал Эдди. Невысокий, усталый, в плаще, который помнил ещё позапрошлого мэра. Он показал мне фотографию подставки в пакете для улик — круглый картон, синий маяк и надпись «Тихая гавань» — и спросил, узнаю ли я её.

— Это моя подставка, — сказала я. — Я раздаю их по двести штук за ночь. Их уносят домой, на них пишут телефоны, их подкладывают под шатающиеся столы. Половина Вест-Лупа живёт на моих подставках, детектив.

— Вы знали жертву?

— Кэти. — Я не стала врать. — Она приходила по пят-

ницам.

— А женщину с Нижнего Уэкера?

Он показал другое фото. Бежевое пальто, нитка жемчуга. Я покачала головой.

— А это кто? — Он кивнул через улицу.

Пол сидел на мотоцикле в тени опор, ровно там, где сидел три ночи подряд, и делал вид, что читает что-то в телефоне. Делал вид он плохо.

— Понятия не имею, — сказала я. — Какой-то псих. Третий день тут торчит. Может, вам стоит его проверить.

Детектив Харрис посмотрел на Пола. Пол помахал ему рукой.

Детектив вздохнул, записал что-то в блокнот и ушёл, попросив меня на прощание не уезжать из города. Я заверила его, что не собираюсь. Мне некуда.

Эдди Ковальски сидел за стойкой, хотя бар ещё не открылся, и смотрел на меня из-под шляпы.

— Мужик в костюме со станции, — сказал он. — Жив.

Я выдохнула.

— Ослеп. Глаза целые, а не видит. Лежит в Мемориальной, на четырнадцатом этаже. Медсёстры говорят, бредит. — Эдди помолчал. — Повторяет одно и то же: «Их было много. Целый хор».

* * *

Ашер ждал меня наверху, в моей кухне, в темноте.

Я поднялась после закрытия, в начале пятого, щёлкнула

выключателем и даже не вздрогнула. Он сидел за моим столом, закинув ногу на ногу, и чистил гранат над моей единственной хорошей тарелкой.

— От тебя пахнет бензином и ладаном, сердце моё, — сказал он, не поднимая глаз. — И озером. Он возил тебя на озеро? Как трогательно. Когда-то Стражи жгли таких, как ты, на кострах. Теперь катают на мотоциклах. Прогресс.

— Ты видел, что было на станции?

— Весь город видел. Только не понял. — Он отделил зерно и положил в рот. — Люди удивительные создания, Люси. У них под носом разверзается небо, а они пишут в новостях про короткое замыкание в системе обогрева.

— Что это было, Ашер?

— Охота.

Он сказал это так спокойно, что у меня похолодели пальцы.

— Кто-то наверху потерял очень дорогую вещь и ищет её по всему городу. Заглядывает в каждое окошко. Каждой встречной женщине — в глаза. А глаза, сердце моё, не созданы для того, чтобы в них смотрело небо. Они от этого… — он щёлкнул пальцами, — перегорают. Как лампочки.

— Что за вещь?

— Если я скажу тебе бесплатно, ты перестанешь меня уважать.

— Я тебя и так не уважаю.

— Неправда. Ты меня боишься. Это лучше уважения: оно

долговечнее.

Он отодвинул тарелку и посмотрел на меня. И я снова, не желая того, увидела его настоящее лицо — то, что под лицом. Красивое до боли. Голодное до дрожи.

— Скажи «да», Люси, — сказал он мягко. — И ни один луч тебя не коснётся. Я спрячу тебя так глубоко, что тебя не найдёт ни небо, ни твой Страж. Особенно твой Страж.

— А цена?

— Ты знаешь мои цены. Они всегда справедливые. Просто не всегда сразу понятно, что именно ты отдала.

— Нет.

— Как скажешь. — Он встал и поправил пальто на плечах. — Я подожду. Я, знаешь ли, умею ждать. Это моё единственное настоящее достоинство.

У двери он остановился.

— Кстати, — сказал он, не оборачиваясь. — Твоя мать тоже не держала зеркал.

У меня внутри что-то оборвалось.

— Ты знал мою мать?

— Я знаю многих, — сказал Ашер. И его не стало.

* * *

Бабушкин сундук стоит у меня в шкафу, под зимними куртками. Я не открывала его десять лет. С тех пор как бабушки не стало и я сложила туда всё, что не смогла выбросить и не могла видеть.

Я вытащила его на середину комнаты, села на пол и от-

крыла.

Пахнуло лавандой и старой бумагой. Бабушкины чётки из тёмного дерева. Её очки в роговой оправе. Пачка писем, перевязанная бечёвкой. Мои школьные рисунки, которые она зачем-то хранила. Мамины фотографии: мама в выпускном платье, мама на пляже, мама с младенцем на руках — со мной — смотрит не в камеру, а в сторону, будто ждёт, что сейчас кто-то войдёт.

А на самом дне, в конверте из плотной коричневой бумаги, лежала ещё одна.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.